

Максим Горький

По Руси



Максим Горький

По Руси

«Public Domain»

Горький М.

По Руси / М. Горький — «Public Domain»,

«Это было в 92-м, голодном году, между Сухумом и Очемчирами, на берегу реки Кодор, недалеко от моря – сквозь веселый шум светлых вод горной речки ясно слышен глухой плеск морских волн. Осень. В белой пене Кодера кружились, мелькали желтые листья лавровишни, точно маленькие, проворные лососи, я сидел на камнях над рекою и думал, что, наверное, чайки и бакланы тоже принимают листья за рыбу и – обманываются, вот почему они так обиженно кричат, там, направо, за деревьями, где плещет море...»

Содержание

Рождение человека[2]	5
Ледоход[3]	12
Губин[4]	25
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Максим Горький

По Руси¹

Рождение человека²

Это было в 92-м, голодном году, между Сухумом и Очемчирами, на берегу реки Кодор, недалеко от моря – сквозь веселый шум светлых вод горной речки ясно слышен глухой плеск морских волн.

Осень. В белой пене Кодера кружились, мелькали желтые листья лавровишни, точно маленькие, проворные лососи, я сидел на камнях над рекою и думал, что, наверное, чайки и бакланы тоже принимают листья за рыбу и – обманываются, вот почему они так обиженно кричат, там, направо, за деревьями, где плещет море.

Каштаны надо мною убраны золотом, у ног моих – много листьев, похожих на отсеченные ладони чьих-то рук. Ветви граба на том берегу уже голые и висят в воздухе разорванной сетью; в ней, точно пойманный, прыгает желто-красный горный дятел-расудок, стучит черным носом по коре ствола, выгоняя насекомых, а ловкие синицы и сизые поползны – гости с далекого севера – клюют их.

Слева от меня по вершинам гор тяжело нависли, угрожая дождем, дымные облака, от них ползут тени по зеленым скатам, где растет мертвое дерево самшит, а в дуплах старых буков и ляп можно найти «пьяный мед», который, в древности, едва не погубил солдат Помпея Великого пьяной сладостью своей, свалив с ног целый легион железных римлян; пчелы делают его из цветов лавра и азалии, а «проходящие» люди выбирают из дупла и едят, намазав на лаваш – тонкую лепешку из пшеничной муки.

Этим я и занимался, сидя в камнях под каштанами, сильно искусанный сердитой пчелой, макал куски хлеба в котелок, полный меда, и ел, любуясь ленивой игрою усталого солнца осени.

Осенью на Кавказе – точно в богатом соборе, который построили великие мудрецы – они же всегда и великие грешники, – построили, чтобы скрыть от зорких глаз совести свое прошлое, необъятный храм из золота, бирюзы, изумрудов, развесили по горам лучшие ковры, шитые шелками у тюркмен, в Самарканде, в Шемахе, ограбили весь мир и все – снесли сюда, на глаза солнца, как бы желая сказать ему:

– Твое – от Твоих – Тебе.

...Я вижу, как длиннородые седые великаны, с огромными глазами веселых детей, спускаясь с гор, украшают землю, всюду щедро сея разноцветные сокровища, покрывают горные вершины толстыми пластами серебра, а уступы их – живую тканью многообразных деревьев, и – безумно-красивым становится под их руками этот кусок благодатной земли.

Превосходная должность – быть на земле человеком, сколько видишь чудесного, как мучительно сладко волнуется сердце в тихом восхищении пред красотой!

² **РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА** Рассказ Впервые напечатано в журнале «Заветы», 1912, номер 1, апрель, с подзаголовком «Из воспоминаний проходящего». Одновременно вышло отдельным изданием (вместе с рассказом «Случай из жизни Макара») в издательстве И. П. Ладыжникова, Берлин (без обозначения года издания). В основу рассказа положен эпизод из жизни М. Горького: в конце лета 1892 года М. Горький работал на Кавказе, на постройке шоссе Сухум – Новороссийск; здесь на одной из пустынных дорог он встретил женщину, у которой начались роды, и принял у неё ребёнка. Автобиографичность рассказа подтверждена М. Горьким в письме к И. А. Груздеву. «В дополнение к письму из Ейска, – писал М. Горький, – посылаю ещё письмо какого-то Бурбы, который тоже рассказывает о „Рождении человека“. Но этот Бурба, очевидно, был на Сухумском шоссе, и рассказ о моём „акушерстве“ слышал там» (архив А. М. Горького). В переписке М. Горького есть указания на то, что замысел рассказа относится к маю 1910 года. В апреле 1912 года рассказ «Рождение человека» был прочитан М. Горьким в Париже, на митинге, посвящённом ленским событиям.

Ну да – порою бывает трудно, вся грудь нальется жгучей ненавистью и тоска жадно сосет кровь сердца, но это – не навсегда дано, да ведь и солнцу, часто, очень грустно смотреть на людей: так много потрудились они для них, а – не удалась людишки...

Разумеется, есть немало и хороших, но – их надобно починить или – лучше – переделать заново.

...Над кустами, влево от меня, качаются темные головы: в шуме волн моря и ропоте реки чуть слышно звучат человечьи голоса – это «голодающие» идут на работу в Очемчиры из Сухума, где они строили шоссе.

Я знаю их – орловские, вместе работал с ними и вместе рассчитался вчера; ушел я раньше их, в ночь, чтобы встретить восход солнца на берегу моря.

Четверо мужиков и скуластая баба, молодая, беременная, с огромным вздутым к носу животом, испуганно вытаращенными глазами синевато-серого цвета. Я вижу над кустами ее голову в желтом платке, она качается, точно цветущий подсолнечник под ветром. В Сухуме у нее помер муж – объелся фруктами. Я жил в бараке среди этих людей: по доброй русской привычке они толковали о своих несчастьях так много и громко, что, вероятно, их жалобные речи было слышно верст на пять вокруг.

Это – скучные люди, раздавленные своим горем, оно сорвало их с родной, усталой, неродимой земли и, как ветер сухие листья осени, занесло сюда, где роскошь незнакомой природы – изумив – ослепила, а тяжкие условия труда окончательно пришибли этих людей. Они смотрели на все здесь, растерянно мигая выцветшими, грустными глазами, жалко улыбаясь друг другу, тихо говоря:

– А-яй... экая земляща...

– Прямо – прет из нее.

– Н-да-а... а однако – камень ведь...

– Неудобная земля, надобно сказать...

И вспоминали о Кобыльем ложке. Сухом гоне. Мокреньком – о родных местах, где каждая горсть земли была прахом их дедов и все памятно, знакомо, дорого – орошено их потом.

Была там с ними еще одна баба – высокая, прямая, плоская, как доска, с лошадиными челюстями и тусклым взглядом черных, точно угли, косых глаз.

Вечерами она, вместе с этой – в желтом платке, – уходила за барак и, сидя там на груде щебня, положив щеку на ладонь, склоня голову вбок, пела высоким и сердитым голосом:

За погостом...
во зелены-их куста-ах –
На песочку...
расстелю я белый плат...
Не дождусь ли...
дружка милого мово...
Придет милый...
поклонюся яй ему...

Желтая обычно молчала, согнув шею и разглядывая свой живот, но иногда вдруг, неожиданно, лениво и густо, мужицким сиповатым голосом вступала в песню рыдающими словами:

Ой да милый...
ой, миленок дорогой...
Не судьба мне...
боле видеться с тобой...

В черной душной темноте южной ночи эти плачевные голоса напоминали север, снежные пустыни, визг метели и отдаленный вой волков...

Потом косоглазая баба заболела лихорадкой и ее снесли в город на носилках из брезента – она тряслась в них и мычала, словно продолжая петь свою песню о погосте и песочке.

...Ныряя в воздухе, желтая голова исчезла.

Я кончил свой завтрак, закрыл листьями мед в котелке, завязал котомку и, не спеша, двинулся вослед ушедшим, постукивая кизиловой палкой о твердый грунт тропы.

Вот и я на узкой, серой полосе дороги, справа – качается густо-синее море; точно невидимые столяры строгают его тысячами фуганков – белая стружка, шурша, бежит на берег, гонимая ветром, влажным, теплым и пахучим, как дыхание здоровой женщины. Турецкая фелюга, накрываясь на левый борт, скользит к Сухуму, надув паруса, как важный сухумский инженер надувал свои толстые щеки – серьезнейший человек. Почему-то он говорил вместо тише – «чише» и «хыть» вместо хоть.

– Чише! Хыть ты и боек, но я тебя моментально в полицию...

Любил он отправлять людей в полицию, и хорошо думать, что теперь его, наверное, уже давно, до костей обглодали червяки могилы.

...Идти – легко, точно плывешь в воздухе. Приятные думы, пестро одетые воспоминания ведут в памяти тихий хоровод; этот хоровод в душе – как белые гребни волн на море, они сверху, а там, в глубине – спокойно, там тихо плавают светлые и гибкие надежды юности, как серебряные рыбы в морской глубине.

Дорогу тянет к морю, она, извиваясь, подползает ближе к песчаной полосе, куда вбегают волны, – кустам тоже хочется заглянуть в лицо волны, они наклоняются через ленту дороги, точно кивая синему простору водной пустыни.

Ветер подул с гор – будет дождь.

...Тихий стон в кустах – человеческий стон, всегда родственно встряхивающий душу.

Раздвинув кусты, вижу – опираясь спиной о ствол ореха, сидит эта баба, в желтом платке, голова опущена на плечо, рот безобразно растянут, глаза выкатились и безумны; она держит руки на огромном животе и так неестественно страшно дышит, что весь живот судорожно прыгает, а баба, придерживая его руками, глухо мычит, обнажив желтые волчьи зубы.

– Что – ударили? – спросил я, наклоняясь к ней, – она сучит, как муха, голыми ногами в пепельной пыли и, болтая тяжелой головою, хрипит:

– Уди-и... бесстыжий... ух-ходи...

Я понял, в чем дело, – это я уже видел однажды, – конечно, испугался, отпрыгнул, а баба громко, протяжно завывала, из глаз ее, готовых лопнуть, брызнули мутные слезы и потекли по багровому, натужно надутому лицу.

Это воротило меня к ней, я сбросил на землю котомку, чайник, котелок, опрокинул ее спиной на землю и хотел согнуть ей ноги в коленях – она оттолкнула меня, ударив руками в лицо и грудь, повернулась и, точно медведица, рыча, хрипя, пошла на четвереньках дальше в кусты:

– Разбойник... дьявол...

Подломились руки, она упала, ткнулась лицом в землю и снова завывала, судорожно вытягивая ноги.

В горячке возбуждения, быстро вспомнив все, что знал по этому делу, я перевернул ее на спину, согнул ноги – у нее уже вышел околоплодный пузырь.

– Лежи, сейчас родишь...

Сбегал к морю, засучил рукава, вымыл руки, вернулся и – стал акушером.

Баба извивалась, как береста на огне, шлепала руками по земле вокруг себя и, вырывая блеклую траву, все хотела запихать ее в рот себе, осыпала землю страшное, нечеловеческое лицо, с одичалыми, налитыми кровью глазами, а уж пузырь прорвался и прорезывалась

головка, – я должен был сдерживать судороги ее ног, помогать ребенку и следить, чтобы она не совала траву в свой перекошенный, мычащий рот...

Мы немножко ругали друг друга, она – сквозь зубы, я – тоже не громко, она – от боли и, должно быть, от стыда, я – от смущения и мучительной жалости к ней...

– Х-хосподи, – хрипит она, синие губы закушены и в пене, а из глаз, словно вдруг выцветших на солнце, все льются эти обильные слезы невыносимого страдания матери, и все тело ее ломается, разделяемое надвое.

– Ух-ходи ты, бес...

Слабыми, вывихнутыми руками она все отталкивает меня, я убедительно говорю:

– Дуреха, роди, знай, скорее...

Мучительно жалко ее, и кажется, что ее слезы брызнули в мои глаза, сердце сжато тоской, хочется кричать, и я кричу:

– Ну, скорей!

И вот – на руках у меня человек – красный. Хоть и сквозь слезы, но я вижу – он весь красный и уже недоволен миром, барахтается, буянит и густо орет, хотя еще связан с матерью. Глаза у него голубые, нос смешно раздавлен на красном, смятом лице, губы шевелятся и тянут:

– Я-а... я-а...

Такой скользкий – того и гляди, уплывет из рук моих, я стою на коленях, смотрю на него, хохочу-очень рад видеть его! И – забыл, что надобно делать...

– Режь... – тихо шепчет мать, – глаза у нее закрыты, лицо опало, оно землисто, как у мертвой, а синие губы едва шевелятся:

– Ножиком... перережь...

Нож у меня украли в бараке – я перекусываю пуповину, ребенок орет орловским басом, а мать – улыбается: я вижу, как удивительно расцветают, горят ее бездонные глаза синим огнем – темная рука шарит по юбке, ища карман, и окровавленные, искусанные губы шелестят:

– Н-не... силушки... тесемочка кармани... перевязать пупочек...

Достал тесемку, перевязал, она – улыбается все ярче; так хорошо и ярко, что я почти слепну от этой улыбки.

– Оправляйся, а я пойду, вымою его... Она беспокойно бормочет:

– Мотри – тихонечко... мотри же... Этот красный человечик вовсе не требует осторожности: он сжал кулак и орет, орет, словно вызывая на драку с ним:

– Я-а... я-а...

– Ты, ты! Утверждайся, брат, крепче, а то ближние немедленно голову оторвут...

Особенно серьезно и громко крикнул он, когда его впервые обдало пенной волной моря, весело хлестнувшей обоих нас; потом, когда я стал нашлепывать грудь и спинку ему, он зажмурил глаза, забился и завизжал пронзительно, а волны, одна за другою, все обливали его.

– Шуми, орловский! Кричи во весь дух...

Когда мы с ним воротились к матери, она лежала, снова закрыв глаза, кусая губы, в схватках, извергавших послед, но, несмотря на это, сквозь стоны и вздохи, я слышал ее умирающий шепот:

– Дай... дай его...

– Подождет.

– Дай-ко...

И дрожащими, неверными руками расстегивала кофту на груди. Я помог ей освободить грудь, заготовленную природой на двадцать человек детей, приложил к теплomu ее телу буйного орловца, он сразу все понял и замолчал.

– Пресвятая, пречистая, – вздрагивая, вздыхала мать и перекатывала растрепанную голову по котомке с боку на бок.

И вдруг, тихо крикнув, умолкла, потом снова открылись эти донельзя прекрасные глаза – святые глаза родительницы, синие, они смотрят в синее небо, в них горит и тает благодарная, радостная улыбка; подняв тяжелую руку, мать медленно крестит себя и ребенка...

– Слава те, пречистая мать божия... ох... слава тебе... Глаза угасти, провалились, она долго молчит, едва дыша, и вдруг деловито, отвердевшим голосом сказала:

– Развяжи, паренек, котомку мою...

Развязали, она взглянула на меня пристально, слабенько усмехнулась, как будто – чуть заметно – румянец блеснул на опавших щеках и потном лбу.

– Отойди-ка...

– Ты очень-то не возись...

– Ну, ну... отойди...

Отошел недалеко в кусты. Сердце как будто устало, а в груди тихо поют какие-то славные птицы, и это – вместе с немолчным плеском моря – так хорошо, что можно бы слушать год...

Где-то недалеко журчит ручей – точно девушка рассказывает подруге о возлюбленном своем...

Над кустами поднялась голова в желтом платке, уже повязанном, как надобно.

– Эй, эй, это ты, брат, рано завоzilась!

Придерживаясь рукою за ветку кустарника, она сидела, точно выпитая, без кровинки в сером лице, с огромными синими озерами на месте глаз, и умиленно шептала:

– Гляди – как спит...

Спал он хорошо, но, на мой взгляд, ничем не лучше других детей, а если и была разница, так она падала на обстановку: он лежал на куче ярких осенних листьев, под кустом, – какие не растут в Орловской губернии.

– Ты бы, мать, легла...

– Не-е, – сказала она, покачивая головою на развинченной шее, – мне прибраться надобно да идти в энти самые...

– В Очемчиры?

– Во-от! Наши-те, поди, сколько верст ушагали...

– Да разве ты можешь идти?

– А богородица-то? Пособит...

Ну, уж если она вместе с богородицей, – надо молчать!

Она смотрит под куст на маленькое, недовольно надутое лицо, изливая из глаз теплые лучи ласкового света, облизывает губы и медленным движением руки поглаживает грудь.

Я развожу костер, прилаживаю камни, чтобы поставить чайник.

– Сейчас я тебя, мать, чаем угощу...

– О? Напой-ка... ссохлось все в грудях-то у меня...

– Что ж это земляки бросили тебя?

– Они не бросили – зачем! Я сама отстала, а они – выпимши, ну... и хорошо, а то как бы я распросталась при них-то...

Взглянув на меня, она закрыла лицо локтем, потом, сплюнув кровью, стыдливо усмехнулась.

– Первый у тебя?

– Первенькой. А ты – кто?

– Вроде как бы человек...

– Конечно, человек! Женатый?

– Не удостоился...

– Врешь?

– Зачем?

Она опустила глаза, подумала:

– А как же ты бабьи дела знаешь? Теперь – совру. И я сказал:

– Учился этому. Студент – слыхала?

– А как же! У нас у попа сын старшой студент тоже, на попа учится... – Вот и я из эдаких. Ну, пойду за водой... Женщина наклонила голову к сыну, прислушалась – дышит ли? – потом поглядела в сторону моря.

– Помыться бы мне, а вода – незнакомая... Что это за вода? И солена и горька...

– Вот ты ею и помойся – здоровая вода!

– Ой?

– Верно. И теплей, чем в ручье, а ручьи здесь – как лед...

– Тебе – знать...

Дремля, свесив голову на грудь, шагом проехал абхазец; маленькая лошадка, вся из сухожилий, прядая ушами, покосилась на нас круглым черным глазом – фыркнула, всадник сторожко взметнул башкой, в мохнатой меховой шапке, тоже взглянул в нашу сторону и снова опустил голову.

– Эки люди здесь несуразные да страховидные, – тихо сказала орловка.

Я ушел. По камням прыгает, поет струя светлой и живой, как ртуть, воды, в ней весело кувыркаются осенние листья – чудесно! Вымыл руки, лицо, набрал воды полный чайник, иду и вижу сквозь кусты – женщина, беспокойно оглядываясь, ползает на коленях по земле, по камням.

– Чего тебе?

Испугалась, посерела и прячет что-то под себя, я – догадался.

– Дай мне, я зарюю...

– Ой, родимый! Как же? В предбаннике надо бы, под полом...

– Скоро ли здесь баню выстроят, подумай!

– Шутишь ты, а я – боюсь! Вдруг зверь съест... а ведь место надобно земле отдать...

Отвернулась в сторону и, подавая мне сырой, тяжелый узелок, тихо, стыдливо попросила:

– Уж ты – получше как, поглубже, Христа ради... жалеючи сыночка мово, уж сделай поверней...

...Когда я воротился, то увидел, что она идет, шатаясь и вытянув вперед руку, от моря, юбка ее по пояс мокра, а лицо зарумянилось немножко и точно светится изнутри. Помог ей дойти до костра, удивленно думая:

«Эка силища звериная!»

Потом пили чай с медом, и она тихонько спрашивала меня:

– Бросил ученье-то?

– Бросил.

– Пропился, что ли?

– Окончательно пропился, мать!

– Экой ты какой! А ведь я те помню, в Сухуме заметила, когда ты с начальником из-за харчей ругался; так тогда и подумалось мне – видно, мол, пропойца, бесстрашный такой...

И, вкусно облизывая языком мед на вспухших губах, все косилась синими глазами под куст, где спокойно спал новейший орловец.

– Как-то он поживет? – вздохнув, сказала она, – оглядывая меня. – Помог ты мне – спасибо... а хорошо ли это для него, и – не знаю уж...

Напилась чаю, поела, перекрестилась, и, пока я собирал свое хозяйство, она, сонно покачиваясь, дремала, думала о чем-то, глядя в землю снова выцветшими глазами. Потом стала подниматься.

– Неужто – идешь?

– Иду.

– Ой, мать, гляди!

– А богородица-то?.. Дай-ко мне его!

– Я его понесу...

Поспорили, она уступила, и – пошли, плечо в плечо друг с другом.

– Кабы мне не трюхнуть, – сказала она, виновато усмехаясь, и положила руку на плечо мое.

Новый житель земли русской, человек неизвестной судьбы, лежа на руках у меня, солидно сопел. Плескалось и шуршало море, все в белых кружевах стружек; шептались кусты, сияло солнце, перейдя за полдень.

Шли – тихонько, иногда мать останавливалась, глубоко вздыхая, вскидывала голову вверх, оглядывалась по сторонам, на море, на лес и горы, и потом заглядывала в лицо сына – глаза ее, насквозь промытые слезами страданий, снова были изумительно ясны, снова цвели и горели синим огнем неисчерпаемой любви.

Однажды, остановясь, она сказала:

– Господи, боженька! Хорошо-то как, хорошо! И так бы все – шла, все бы шла, до самого аж до краю света, а он бы, сынок, – рос да все бы рос на приволье, коло матерней груди, родимуха моя...

...Море шумит, шумит...

1912 г.

Ледоход³

На реке, против города, семеро плотников спешно чинили ледорез, ободранный за зиму слободскими мещанами на топливо.

Весна запоздала в том году – юный молодец Март смотрел Октябрем; лишь около полуден – да и то не каждый день – в небе, затканном тучами, являлось белое – по-зимнему – солнце и ныряло в голубых проталинах между туч, поглядывая на землю неприветливо и косо.

Уже была пятница страстной недели, а капель к ночи намерзала синими сосульками в поларшина длиною; лед на реке, оголенной от снега, тоже был синеватый, как зимние облака.

Работали плотники – а в городе печально и призывно пела медь колоколов. Головы рабочих поднимались вверх, глаза задумчиво тонули в сероватой мгле, обнявшей город, и часто топор, занесенный для удара, нерешительно, на секунду останавливался в воздухе, точно боясь разрубить ласковый звон.

Там и тут на широкой полосе реки криво торчали сосновые ветви, обозначая дороги, полыньи и трещины во льду; они поднимались вверх, точно руки утопающего, изломанные судорогами.

Томительной скукой веет от реки: пустынная, прикрытая ноздреватой коростой, она лежит безотрадно прямою дорогой во мгlistую область, откуда уныло и лениво дышит сырой, холодный ветер.

... Староста Осип, чистенький и складный мужичок, с правильной серебряной бородкой, аккуратно завитой в мелкие кольца на розовых щеках и гибкой шее, – всегда и всюду заметный, староста Осип покрикивает:

– Шевелись поживей, курицыны дети!

И обращается ко мне, насмешливо внушая:

– Наблюдающий, – ты чего в небе ковыряешь тупым твоим носом? Ты для какого дела приставлен, спросить тебя? Ты – от подрядчика, от Василь Сергеича? Стало быть – подбавь тебе наяривать нас – работай живо, такой-сякой народ! Вот для какого подвигу ты налажен, а ты – на свое дело моргаешь, дите мое, горький сухостой! Моргать тебе не положено, ты гляди в оба да покрикивай, коли тебя вроде десятника до нас приспособили... ты – команду, кукушкино яичко!

Он снова кричит на ребят:

– Не зевай! Лешие, – надобно сегодня конец делу положить, али нет?

Сам он – первейший лентяй артели. Превосходно знает свое дело, умеет работать ловко, спорю, со вкусом и увлечением, но – не любит утруждать себя и постоянно рассказывает волшебные истории. Как раз в разгар работы, когда люди вопьются в нее и работают молча, сосредоточенно, вдруг плененные желанием сделать всё ладно и гладко, – Осип заводит журчащим голоском:

– А вот, братцы мои, был случай...

Две-три минуты люди как будто не слушают его, самозабвенно тешут, строгают, рубят, а мягонький тенорок мечтательно течет и вьется, опутывая, связывая внимание людей. Голубые ясные глаза Осипа сладко прищурены, он покручивает пальцами курчавую бородку и, чмокая от удовольствия, нижеет слово за словом...

³ **ЛЕДОХОД** Рассказ Впервые напечатано в журнале «Вестник Европы», 1912, книга 12, декабрь, под названием «Из впечатлений проходящего». Под названием «Ледоход» рассказ включён в девятнадцатый том собрания сочинений в издании «Жизнь и знание», Пгр. 1915. Написан рассказ не позднее лета 1912 года: в начале сентября этого года он находился уже в редакции «Вестника Европы», о чём сообщается в письме Д. Н. Овсяннико-Куликовского М. Горькому от 4 сентября 1912 года (архив А. М. Горького). Действие рассказа относится к 1883–1884 годам, когда М. Горький работал десятником у подрядчика В. С. Сергеева в Нижнем Новгороде.

– Поймал он этого линя, положил в пещер, идет лесом – думает: «А и будет же уха у меня...» Только вдруг – не знай откуда – кричит голос женской, тонкой: «Елеся-а, Елеся-а...»

Длинный костлявый мордвин Ленька, по прозвищу Народец, – молодой парень с маленькими изумленными глазками, – опустил топор и стоит, открыв рот.

– А из пещера отвечают басищем, густо: «Зде-ся-а!...» И в тую самую минуту крышка с пещера – хло-бось, линь оттедова – прыг и пошел, пошел назад, в омут свой...

Старик-солдат Санявин, угрюмый пьяница, страдающий одышкой и давно чем-то обиженный на всю жизнь, хрипит:

– Как это он, линь, пошел посуху, ежели он – рыба?

– А говорить рыбе назначено? – ласковенько спрашивает Осип.

Мокей Будырин, мужик серый, с собачьим лицом – скулы и челюсти выдвинуты вперед, а лоб запрокинут, – человек молчаливый и неприметный, не торопясь, выпускает через нос три любимые свои слова:

– Это совсем верно...

Каждый раз, когда рассказывают что-нибудь чудесное, страшное, грязное или злое, – он негромко, но непоколебимо уверенно отзывается:

– Это совсем верно...

И словно трижды бьет меня в грудь жестким тяжелым кулаком.

Работа встала, потому что Яков Боев, косноязычный и кособокий, тоже хочет рассказать что-то рыбе и уже начал, но ему никто не верит, смеются над его измятою речью; он – божится, ругается, сердито сует долотом в воздух и, захлебываясь злой слюною, кричит, на смех всем:

– Один – чего ни ври – принимают, а как я вам – правду, – ржете, галманы, пострели вас в душу...

Все бросили работу и шумят, размахивая пустыми руками; тогда – Осип снимает шапку, обнажая благообразную серебряную голову, с плешью на темени, и строго кричит:

– Будя, эй! Позвонили, отдохнули, и – ладно!

– Сам завел, – хрипит солдат, поплеывая на ладони.

Осип пристаёт ко мне:

– Наблюдающий-и...

Мне кажется, что он сбивает людей с работы своими россказнями, имея какую-то цель, но я не понимаю – хочет ли он болтовней прикрыть свою лень или дать людям отдых? Перед подрядчиком Осип держится льстиво, низкопоклонно, – «ломает дурака» перед ним и каждую субботу умеет выклянчить у него «на чайшко» для артели.

Вообще он человек «артельный», но старики его не любят, считают шутком, бездельником и относятся к нему неуважительно, да и молодежь, любя слушать его болтовню, смотрит на него несерьезно, с недоверием, плохо скрытым и часто злым.

Мордвин, парень грамотный, с которым я говорю иногда «по душам», однажды, на мой вопрос – что за человек Осип, сказал, усмехаясь:

– Не знай... пес его знает... так себе – ничего...

И, подумав, добавил:

– Михайло, который помер, резкий был мужик, умный, – так он раз лаялся с им, с Осипом-то, да и говорит: «Али, говорит, ты человек? Работник в тебе подох, а хозяин – не родился, так, говорит, ты и будешь всю жизнь болтаться на углу, как забытый отвес на нитке»... Вот это, поди-ка, верно про него...

И еще подумав, мордвин беспокойно договорил:

– А так он ничего, добрый человек...

У меня глупейшая позиция среди этих людей: пятнадцатилетний парень, я приставлен подрядчиком – записывать расход материала, следить, чтобы плотники не воровали гвоздей, не таскали в кабак досок. Гвозди они воруют, нимало не стесняясь моим присутствием, и все

усердно показывают мне, что я на работе среди них – человек лишний, неприятный. И если кому-нибудь представляется случай незаметно задеть меня доскою или иным способом причинить мне маленькую обиду – они это делают очень умело.

Мне с ними неловко, стыдно; я хочу сказать им что-то, что помирило бы их со мною, но не нахожу нужных слов, и меня давит угрюмое чувство моей ненужности.

Каждый раз, когда я записываю в книжку количество взятого материала, – Осип, не торопясь, подходит и спрашивает:

– Нарисовал? Ну-ко, покажь...

Смотрит на запись прищура глаза и говорит неопределенно:

– Мелко пишешь...

Он умеет читать только по печатному, пишет тоже печатными буквами церковного устава – гражданская пропись непонятна ему.

– Это – корытцем-то – какое слово?

– Добро.

– Добро-о! Ишь петля какая... А что написано строкой этой?

– Досок вершковых, девятиаршинных, пять.

– Шесть.

– Пять.

– Как же пять? Вот, солдат перерезал одну...

– Это он напрасно, надобности не было...

– Как же не было? Он половинку в кабак снес...

Спокойно глядя в лицо мне голубыми, как васильки, глазами, с веселой усмешечкою в них, он навивает на палец колючки бороды и неотразимо бесстыдно говорит:

– Рисуй шесть, право! Ты гляди, кукушкино яичко, – мокро, холодно, работенка тяжелая – надобно людям побаловать душеньку, винцом-то ее обогреть? Ты – не строжись, бога строгостью не подкупишь...

Говорит он долго, ласково, кудревато, слова сыплются на меня, точно опилки, я как бы внутренне слепну и молча показываю ему переправленную цифру.

– Ну вот – это верно! И цифра – красивше, вон какой купчихой сидит, пузатенька, добренька...

Я вижу, как победоносно он рассказывает плотникам о своем успехе, знаю, что они все презирают меня за уступчивость, мое пятнадцатилетнее сердце обиженно плачет, а в голове вертятся скучные, серые мысли:

«Всё это странно и глупо. Почему он уверен, что я снова не переправлю 6 на 5 и не скажу подрядчику, что они пропилили доску?»

Однажды они украли два фунта пятивершковых костылей и железные скобы.

– Слушай, – предупредил я Осипа, – я это запишу!

– Вали! – согласился он, играя седыми бровями. – Что, в сам-деле, за баловство? Вали, рисуй их, маминых детей...

И закричал ребятам:

– Эй, шалыганы, костыли и скобы на штраф вам записаны!..

Солдат угрюмо спросил:

– Почто?

– Проштрафились, стало быть, – спокойно пояснил Осип.

Плотники заворчали, косо поглядывая на меня, а у меня не было уверенности, что я сделаю то, чем пригрозил, а если сделаю – так это будет хорошо.

– Уйду от подрядчика, – сказал я Осипу, – ну вас всех к чертям! С вами вором станешь.

Осип подумал, погладил бороду, сел рядом со мною плечом и сказал тихонько:

– Это – правильно!

– Что?

– Надо уйти. Какой ты десятник, какой приказчик? В должностях этих надобно понимать, что есть имущество, собачий характер надобен тут, чтоб охранять хозяи-ново, как свою родную шкуру, мамино наследство... А ты для этого дела – молод пес, ты не чувствуешь, чего имущество требует. Если бы сказать Василь Сергеичу, как ты нам мирволишь, – он бы те в тую самую одну минуту по шее, – вполне решительно! Потому ты для него – не к доходу, а на расход, человек же должен служить доходно хозяину – понял?

Свернув папиросу, он дал ее мне.

– Покури, легче будет в мозге. Кабы у тебя, кран-даш, не такой совкий и спорный характер был – я бы тебе-тко сказал: иди в монахи! Ну, – характер у тебя для этого не подходящий, топорный характер, неотес ты в душе, ты, буде, и самому игумну не сдашь. С эдаким характером в карты играть невозможно! А монах – он наподобие галки: чье клюет – не знает, корни дела его не касаются, он зерном сыт, а не корнем. Всё это я тебе говорю от сердца, как вижу, что человек ты чужой делам нашим – кукушкино яичко в не ее гнезде...

Снял шапку – он это делал всегда, когда хотел сказать что-либо особенно значительное, – поглядел в серое небо и громко, покорно выговорил:

– Дела наши – воровские пред господом, и спасенья нам не буде от него...

– Это совсем верно, – отозвался Мокей Будырин, точно кларнет.

С той поры кудрявый, среброголовый Осип с ясными глазами и сумеречной душою стал мне приятно интересен, между нами зародилось нечто подобное дружбе, но я видел, что доброе отношение ко мне чем-то смущает его: при других он на меня не смотрит, васильковые зрачки светлы и пусты, они суетливо бегают, дрожат, и губы человека кривятся лживо, неприятно, когда он говорит мне:

– Эй, поглядывай в оба, оправдывай хлеб, а то вон – солдат гвозди жует, прорва...

А один на один со мною он говорит поучительно и ласково, в глазах его светится-играет умненькая усмешечка, и смотрят они голубыми лучами прямо в мои глаза. Слова этого человека я слушаю внимательно, как верные, честно взвешенные в душе, хотя иногда он говорит странно.

– Надо быть хорошим человеком, – сказал я однажды.

– А – конечно! – согласился он, но тотчас же, усмехнувшись, спрятал глаза, тихонько говоря: – Однако – как понимать хорошего человека? Я так думаю, что людям-то наплевать на хорошесть, на праведность твою, ежели она – не к добру им; нет, ты окажи им внимание, ты всякому сердцу в ласку будь, побалуй людей, потешь... может, когда-нибудь и тебе это хорошо обернется! Конечно – споров нету – очень приятное дело, будучи хорошим человеком, на свою харю в зеркало глядеть... Ну, а людям – я вижу – всё едино как: жулик ты али святой – только до них будь сердечней, до них добрее будь... Вот оно – что всем надо!..

Я очень внимательно присматриваюсь к людям, мне думается, что каждый человек должен возвести и возводит меня к познанию этой непонятной, запутанной, обидной жизни, и у меня есть свой беспокойный, неумолкающий вопрос:

«Что такое человечья душа?»

Мне кажется, что иные души построены, как медные шары: укрепленные неподвижно в груди, они отражают все, что касается их, одной своей точкой, – отражают неправильно, уродливо и скучно. Есть души плоские, как зеркала, – это всё равно как будто нет их.

А в большинстве своем человечья души кажутся мне бесформенными, как облака, и мутно-пестрыми, точно лживый камень опал, – они всегда податливо изменяются, сообразно цвету того, что коснется их.

Я не знаю, не могу понять, какова душа благообразного Осипа, – неуловима она умом.

Об этих делах я и думаю, глядя за реку, где город, прилепившийся на горе, поет колоколами всех колоколен, поднятых в небо, как белые трубы любимого мною органа в польском

костеле. Кресты церквей – точно тусклые звезды, плененные сереньким небом, они – скучая – сверкают и дрожат, как бы стремясь вознестись в чистое небо за серым пологом изодранных ветром облаков; а облака бегут и стирают тенями пестрые краски города, – каждый раз, когда из глубоких голубых ям, между ними, упадут на город лучи солнца, обольют его веселыми красками, они тотчас, закрыв солнце, побегут быстрее, сырые тени их становятся тяжелее, и всё потускнеет, лишь минуту подразнив радостью.

Дома города – точно груды грязного снега, земля под ними черная, голая, и деревья садов – как бугры земли, тусклый блеск стекол в серых стенах зданий напоминает о зиме, и надо всем вокруг тихо стелется размычивая грусть бледной северной весны.

Мишук Дятлов, молодой белобрысый парень, с заячьей губою, широкий, нескладный, пробует запеть:

Она пришла к нему поутру,
А он скончался в тую ночь...

– Эй, ты, курвин сын! – кричит на него солдат. – Али забыл, какой седни день?

Боев тоже сердится – грозит Дятлову кулаком и свистит:

– С-собачья душа!

– Народ у нас лесной, долголетний, жилистой, – говорит Осип Будырину, сидя верхом на вершине ледореза и прищуренным глазом измеряя откос. – Выпусти конец бруса на вершок левой – так!.. А ежели просто сказать – дикой народ! Одна – едет алхирей, они – к нему, обкружили, пали на коленки, плачутся: загово-ри-де нам, преосвященное владыко, волков, одолели нас волки! Кэ-эк он их – «Ах, вы, говорит, православные христиане, а? Да я, говорит, всех вас строжайшему суду предам!» Очень разгневался, плюет даже в морды им. Старенький такой был, личность добрая, глазки слезятся...

Сажена на двадцать ниже ледорезов матросы и босяки окалывают лед вокруг барж; хряско бьют пешни, разрушая рыхлую, серую корку реки, маячат в воздухе тонкие шесты багров, проталкивая под лед вырубленные куски его; плещет вода; с песчаного берега доносится говор ручьев. У нас шаркают рубанки, свистит пила, стучат топоры, загоняя железные скобы в желтое, гладко выструганное дерево, – и во все звуки втекает колокольный звон, смягченный расстоянием, волнуящий душу. Кажется, что серый день всею своею работою служит акафист весне, призывая ее на землю, уже обтаявшую, но голую и нищую...

Кто-то орет простуженным голосом:

– Немца-а позо-ови-и! Народу не хвата-ат...

С берега откликаются:

– Где он?

– В кабаке, гляди-и...

Голоса плывут в сыром воздухе тяжело, растекаются над широкой рекою уныло.

Работают торопливо, горячо, но плохо, кое-как; всех тянет в город, в баню и в церковь, особенно беспокоился Сашок Дятлов, такой же, как брат, белобрысый, точно в щелочке вареный, но – кудрявый, складный и ловкий. То и дело поглядывая вверх по течению, он тихонько говорит брату:

– Чу, будто трешшит?

Ночью была «подвижка» льда, речная полиция уже со вчерашнего утра не пускает на реку лошадей, по линейкам мостков, точно бусы, катятся редкие пешеходы, и слышно, как доски, прогибаясь, смачно шлепают по воде.

– Потрескивает, – говорит Мишук, мигая белыми ресницами.

Осип, глядя из-под ладони на реку, обрывает его:

– Это стружка в башке у тебя сохнет-скрипит! Работай, знай, ведьмин сын! Наблюдающий – погоняй их, что ты в книжку воткнулся?

Работы оставалось часа на два, уже весь горб ледореза обшит желтым, как масло, тесом, осталось только наложить толстые железные связи. Боев и Санявин вырезали гнезда для них, но – не угодили, вышло узко – полосы не входили в дерево.

– Мордва слепокурая, – кричал Осип, постукивая себя ладонью по шапке. – Али это работа?

Вдруг, откуда-то с берега, невидимый голос радостно завыл:

– По-оше-ол... о-го-го-о!

И, как бы сопровождая этот вой, над рекою потек неторопливый шорох, тихий хруст; лапы сосновых вешек затрепетали, словно хватаясь за что-то в воздухе, и матросы, босяки, взмахивая баграми, шумно полезли по веревочным трапам на борта барж.

Было странно видеть, как много явилось на реке людей: они точно выпрыгнули из-под льда и теперь метались взад-вперед, как галки, вспугнутые выстрелом, прыгали, бежали, тащили доски и шесты, бросали их и снова хватали.

– Собирай инструмент! – крикнул Осип. – Живо, так вашу... на берег.

– Вот те и светло Христово воскресенье! – горестно воскликнул Сашок.

Казалось, что река неподвижна, а город вздрогнул, покачнулся и вместе с горою под ним тихо всплывает вверх по реке. Серые песчаные осыпи, в десятке сажен перед нами, тоже зашевелились и потекли, отдаляясь от нас.

– Беги, – крикнул Осип, толкнув меня, – чего разинул рот?

Жуткое ощущение опасности ударило в сердце; ноги, почувствовав, что лед уходит из-под них, как-то сами собою вскинулись, понесли тело на песок, где торчали голые прутья ивняка, обломанные зимними выюгами, – там уже валялись Боев, солдат, Будырин и оба Дятловы. Мордвин бежал рядом со мною и сердито ругался, а Осип – шагал сзади, покрывая:

– Не лай, Народец...

– Да ведь как же, дядя Осип...

– Так же всё, как было.

– Застряли мы тут суток на двое...

– И посидишь.

– А праздник?

– Без тебя отпразднуют в сем году...

Солдат, сидя на песке, раскуривал трубку и хрипел:

– Струсил... три пятка сажен места до берегу, а вы – бежать сломя голову...

– Ты первый побег, – сказал Мокей.

Но солдат продолжал:

– А чего испугались? Христос-батюшко и то помер...

– Чать, он воскрес опосля того, – обиженно пробормотал мордвин, а Боев заорал на него:

– Ты – молчи, щенок! Твое дело рассуждать про то? Воскрес! Седни – пятница, а не воскресенье!

В голубой пропасти между облаков вспыхнуло мартовское солнце, лед засверкал, смеясь над нами. Осип поглядел из-под ладони на опустевшую реку и сказал:

– Встала... Только это – ненадолго...

– Отрезало нас от праздника, – угрюмо проговорил Сашок.

Безбородое, безусое лицо мордвина, темное и угловатое, как неочищенная картофелина, сердито сморщилось, он часто мигал и ворчал:

– Сиди тут... Ни хлеба, ни денег... У людей – радость, а мы... Жадностям служим, как собаки всё одно...

Осип, не отводя глаз от реки и, видимо, думая о чем-то другом, говорит, словно сквозь сон:

– Тут вовсе не жадности, а – надобности! Быки-ледорезы – для чего? Охранять ото льда баржи и все такое. Лед – глупый, он навалится на караван, и – прощай имущество...

– А – наплевать... наше оно, что ли?

– Толкуй с дураком...

– Чинили бы раньше...

Солдат скорчил лицо в страшную гримасу и крикнул:

– Цыц, мордва народская!

– Встала, – повторил Осип. – М-да...

На караване орали матросы, а с реки веяло холодом и злою, подстерегающей тишиной. Узор вешек, раскинутый по льду, изменился, и всё казалось измененным, полным напряженного ожидания.

Кто-то из молодых парней спросил, тихонько и робко:

– Дядя Осип – как же?

– Чего? – дремотно отозвался он.

– Так нам и сидеть тут?

Боев, явно издеваясь, гнусаво заговорил:

– Отлучил господь вас, ёрников, от святого праздника своего, что-о?

Солдат поддержал товарища – вытянул руку с трубкой к реке и, посмеиваясь, бормотал:

– Охота в город? Идите! И лед пойдет. Авось утоп-нете, а то – в полицию возьмут... на праздник-то – хорошо!..

– Это совсем верно, – сказал Мокей.

Солнце спряталось, река потемнела, а город стало видно ясней – молодежь уставилась на него сердитыми и грустными глазами и замолчала, замерла.

Мне было скучно и тяжело, как всегда бывает, когда видишь, что все вокруг тебя думают разное и нет единого желания, которое могло бы связать людей в целостную, упрямую силу. Хотелось уйти от них и шагать по льду одному.

Осип, точно вдруг проснувшись, встал на ноги, снял шапку и, перекрестясь на город, сказал очень просто, спокойно и властно:

– Ну-козь, ребята, айда с богом...

– В город? – воскликнул Сашок, вскакивая.

Солдат, не двигаясь, уверенно заявил:

– Потонем!

– Тогда – оставайся.

И, оглянув всех, Осип крикнул:

– Ну, шевелись, живо!

Все поднялись, сбились в кучу; Боев, поправляя инструменты в пещере, заныл:

– Сказано – иди, стало быть – надо идти! Кем приказано – того и ответ...

Осип словно помолодел, окреп: хитровато-ласковое выражение его розового лица слиняло, глаза потемнели, глядя строго, деловито; ленивая, развалистая походка тоже исчезла – он шагал твердо, уверенно.

– Каждый бери по доске и держи ее поперек себя – в случае – не дай бог – провалится кто, – концы доски на лед лягут – поддержка! И трещины переходить... Веревка – есть? Народец, дай-козь мне ватерпас... Готовы? Ну – я вперед, а за мной – кто всех тяжелее? Ты, солдат! Потом – Мокей, мордвин, Боев, Мишук, Сашок, – Максимыч всех легче, он позади... Сымай шапки, молись богородице! Вот и солнышко-батюшко встречу нам...

Дружно обнажились лохматые, седые и русые головы, солнце глянуло на них сквозь тонкое белое облачко и спряталось, точно не желая возбуждать надежд.

– Айда! – сухо, новым голосом сказал Осип. – С богом! Глядите на ноги мне. Не напирай в спину, держись друг ко другу не ближе сажня, а чем дале – то и лучше! Пошел, детки!

Сунув шапку за пазуху, держа в руке ватерпас, Осип, как-то осторожно и ласково шаркая ногами, сошел на лед и тотчас, за спиной у него, на берегу, раздался отчаянный крик:

– Ку-уда, бараны, ма-а...

– Шагай, не оглядывайсь! – звонко командовал вожатый.

– Наза-ад, дьяво-олы...

– Айда, ребята, бога помня! В гости на праздник он нас не позовет...

Свистел полицейский свисток, а солдат громко ворчал:

– Во-от, ерои, так вашу... Затеяли дело! Теперь депеша будет дана тому берегу в полицию... Коли не утоп-нем – в часть, клопам нас... Я на себя ответ не беру...

Бодрый голос Осипа вел людей за собою, точно на веревке:

– Гляди под ноги зорче!..

Шли наискось, против течения, и мне, заднему, хорошо видно было, как маленький аккуратный Осип, с белой, точно у зайца, головою, ловко скользит по льду, почти не поднимая ног. За ним, гуськом, как бы нанизанные на невидимую нить, тянутся, покачиваясь, шесть темных фигур, иногда рядом с ними явятся тени их, лягут под ноги им и стелются по льду. Головы опущены, точно люди идут с горы и боятся упасть, оступившись.

Сзади кричат всё гуще – видимо, сбежался народ большою толпой, слов уже нельзя разобрать, слышен только неприятный гул.

Это осторожное шествие становится для меня механической, скучной работой; я привык ходить быстро и теперь погружаюсь в то полусонное настроение, когда душа как бы пустеет, перестаешь думать о себе, уходишь от себя и в то же время всё видишь особенно четко, слышишь особенно ясно. Под ногами синевато-серый, свинцовый лед, изъеденный водою, его рассеянный блеск ослепляет глаза. Кое-где лед лопнул, выгорбился, истерт движением в мелкие куски, лежит кучами, ноздреватый, как пемза, и острый, как битое стекло. Синие трещины, холодно улыбаясь, ловят ногу. Шлепают широкие подошвы, надоедно звучат голоса Боева и солдата, – оба они – как две дудочки в одних устах.

– Я ответа не беру...

– Конечно, и я...

– Одному дозволено распоряжаться, а другой, может, в тыщу разов умнее...

– Разве умом живут у нас? У нас – глоткой живут все...

Осип заткнул полы полушубка за пояс, его ноги, в серых штанах солдатского сукна, шагают легко и гибко, точно пружины. Идет он так, как будто перед ним все время вертится кто-то, видимый только ему, вертится и мешает идти прямо, кратчайшим путем, а Осип борется с ним, стараясь обойти его, ускользнуть, подается вправо и влево, иногда круто поворачивает назад и так всё время танцует, описывая по льду петли и полукружия. Голос его звучит немолчно, певуче, и очень приятно слышать, как хорошо сливается он со звоном колоколов...

Уже подходили к середине четырехсотсаженной полосы льда, когда сверху реки зашуршало зловещим шорохом, в ту же минуту лед поплыл из-под ног у меня, я покачнулся и, не устояв, припал на колени, удивленный. Но тотчас же, как только я взглянул вверх по реке, испуг схватил меня за горло, лишил голоса, потемнил зрение – серая корка льда ожила, горбилась, на ровной поверхности вспухали острые углы, в воздухе растекался странный хруст – точно кто-то тяжелою ногой шел по битому стеклу.

С тихим свистом около меня струилась вода, трещало дерево, взвизгивая, как живое, орали люди, сбиваясь кучей, и в глухом жутком гуле, размешивая его, звенел голос Осипа:

– Разойдись... расходишь – держись порознь, божьи дети... Пошла матушка, пошла-а! Веселей, ребятки! Вот – пошла-а...

Он прыгал, словно на него осы напали, и, держа саженный ватерпас, как ружье, тыкал им вокруг себя, точно сражаясь с кем-то, а мимо него, вздрагивая, плыл город. Лед подо мною заскрежетал, мелко ломаясь, на ноги мне хлынула вода, я вскочил, слепо бросился к Осипу.

– Куда? – замахнувшись ватерпасом, крикнул он. – Стой, чёрт!

Показалось, что это не Осип, – лицо странно помолодело, всё знакомое стерлось с него, голубые глаза стали серыми, он словно вырос на пол-аршина. Прямой, как новый гвоздь, плотно сжав ноги, вытягиваясь вверх, он кричал, широко открыв рот:

– Не крутись, не сбивайся кучей – башки поразобью!

И снова замахнулся на меня ватерпасом.

Ты куда?

– Потонем, – тихонько сказал я.

– Цыц! Молчи...

Но, оглянув меня, он прибавил тише и мягче:

– Потонуть и дурак сумеет, а ты вот выберись... ты – вылезь!

И снова залился, закричал ободряющие слова, выгибая грудь, закинув голову.

Лед потрескивал и хрустел, неспешно ломаясь, нас медленно сносило мимо города; какая-то силища проснулась в земле и растягивает берег: часть его – ниже нас – неподвижна, а та, что против, тихо отходит вверх по реке, и скоро земля разорвется.

Это жуткое, медленное движение лишало чувства связи с землей: всё уходило, щемя грудь тоской, ослабляя ноги. В небе тихо плыли красные облака, изломы льда, отражая их, тоже краснели, точно напрягаясь, чтобы достичь меня. Ожила вся огромная земля к весенним родам, потягивается, высоко вздымая лохматую влажную грудь, хрустят ее кости, и река, в мощном мясе земли, – словно жила, полная густой, кипучей крови.

Угнетало обидное ощущение своей малости и бессилия в этом уверенном, спокойном движении масс, а в душе, – на обиде, – растет, разгорается дерзкая человечья мечта: протянуть бы руку, властно положить ее на гору, на берег и сказать:

«Стой, пока я не дойду до тебя!...»

Грустно вздыхает гулкая медь колоколов, но – я помню, что через сутки, в ночь, они грянут весело, возвещая воскресение.

Дожить бы до этого звона!..

...Семь темных фигур качались в глазах, подпрыгивая на льду; они размахивали досками, точно гребли в воздухе, а впереди их вьюном вертится старичок, похожий на Николая Чудотворца, и немолчно звенит его властный голос:

– Не зева-ай!..

Река стала шероховатой, ее живой хребет вздрагивал и извивался под ногами, напоминающая о ките из «Конька-Горбунка», и всё чаще из-под чешуи льда выплескивалось жидкое тело реки – мутная холодная вода, жадно облизывая ноги людей.

Люди шли по узкой жердочке над глубоким оврагом. Тихий, зовущий плеск воды вызывал представление о бездонной глубине, о том, как бесконечно долго будет опускаться тело в эту холодную, тесную массу, как ослепнешь в ней и замрет сердце. Вспоминались утопленники, осклизлые черепа, вздутые лица со стеклянными, выпученными глазами, растопыренные пальцы вспухших рук, отмокшая на ладонях кожа, точно тряпка...

Первым провалился под лед Мокей Будырин; он шел впереди мордвина, как всегда молчаливый, отсутствующий, шел спокойнее всех и вдруг – точно его дернули за ноги – исчез, на льду осталась только его голова и руки, вцепившиеся в доску.

– Помога-ай! – завыл Осип – Не толпись все, один, двое помоги!

А Мокей, отфыркиваясь, говорил мордвину и мне:

– Отойдите, парни... я сам... ничего...

Выбрался на лед и, отряхаясь, сказал:

– Пострели те горой, эдак-то, гляди, и в сам-деле потопнешь...

Теперь, щелкая зубами и облизывая большим языком мокрые усы, он особенно стал похож на большого, смиренного пса.

Мимолетно вспомнилось, как он, месяц тому назад, отсек себе топором напрочь сустав большого пальца левой руки – поднял бледный обрубок с посиневшим ногтем и, разглядывая его темным взглядом непонятных глаз, виновато, тихонько говорил:

– Сколько разов я его, чудашку, портил, прямо – счету нет!.. Вывихнут он у меня, неправильно действовал... Теперь – схороню...

Тщательно завернул обрубок в стружку, положил в карман и тогда уже перевязал пораненную руку.

За ним выкупался Боев – казалось, он сам нырнул под лед и тотчас закричал неистово:

– А, б-батушки, тону, смертынька, братцыньки, дайте помощь...

Он так бился в судорогах страха, что вытащили его с трудом и в хлопотах около него едва не погиб мордвин, окунувшись с головою в воду.

– Вот попал бы к чертям ко всенощной, – выбравшись на лед и сконфуженно усмехаясь, сказал он, теперь еще более тонкий и угловатый.

Через минуту снова провалился и завизжал Боев.

– Не ори, Яшка, козлиная душа! – кричал Осип, грозя ему ватерпасом. – Нашто пугаешь людей? Я те задам! Распояшься, ребята, карманы вывороти, ловчей будет...

На каждом десятке шагов открывались, хрустя и брызгая мутной слюною, зубастые челюсти, синие острые зубы хватали ноги: казалось, река хочет всосать в себя людей, как змея всасывает лягушат. Намокшая обувь и одежда, мешая прыгать, тянули книзу; все стало скользкими, точно облизанные, неуклюжими и немыми, двигались тяжело, медленно и покорно.

Но Осип словно заранее сосчитал трещины во льду и такой же мокрый, как все, скакал зайцем со льдины на льдину; перескочит, остановится на секунду и, осматриваясь, звонко кричит:

– Гляди, как надо, эй!

Он играл с рекою: она его ловила, а он, маленький, увертывался, умея легко обмануть ее движения, обойти неожиданные западни. Казалось даже, что это он управляет ходом льда, подгоняя под ноги нам большие, прочные льдины.

– Не падай духом, божьи детки, э-эй!

– Ай да дядя Осип! – тихо восторгался мордвин. – Ну – человек!.. Это действительно – человек...

Чем ближе к берегу, тем более измельчен, истерт лед и всё чаще проваливались люди. Город уже почти проплыл мимо, скоро нас вынесет на Волгу, а там лед еще не тронулся и нас подтянет под него.

– Пожалуй – потонем, – тихонько сказал мордвин, поглядывая налево в синюю муть вечера.

Но вдруг – точно пожалев нас – огромная чка уперлась концом в берег, полезла на него, ломаясь, хрустя, и встала.

– Беги-и! – яростно закричал Осип. – Валяй во всю мочь!..

Прыгнул на чку, поскользнулся, упал и, сидя на краю льдины, заплескиваемый водою, пропустил всех мимо себя – пятеро убежали на берег, толкаясь, обгоняя друг друга. Мордвин и я остановились, желая помочь Осипу.

– Бегите, щенки свинячьи, ну!..

Лицо у него было синее и дрожало, глаза погасли, рот странно открылся.

– Вставай, дядя...

Он опустил голову.

– Ногу я сломил будто... не встать...

Мы подняли его, понесли, а он, закинув руки на шею нам, ворчал, шелкая зубами:
– Утопнете, лешманы... ну, слава те богу, не попустил, батюшко... Смотрите – троих не сдержит, шагай осторожно! Выбирай, где лед снегом не покрыт, там он тверже... бросить бы вам меня!..

Заглянул прищуренным глазом в лицо мне и спросил:

– А книжка-то грехов наших, поди, вовсе размокла у тебя, пропала, а?

Когда мы сошли с куска льдины, навалившегося на берег, раздавив в щепы какую-то барку, вся часть льда, лежавшая в воде, хрустнула и, покачиваясь, захлебываясь, поплыла.

– Ишь ты, – одобрительно сказал мордвин, – поняла дело!

Мокрые, иззябшие и веселые, мы на берегу, в толпе слободских мещан; Боев и солдат уже ругаются с ними, мы кладем Осипа на какие-то бревна, он весело кричит:

– Ребя, а книжка-то решилась, размокла ведь...

Эта книжка – точно кирпич за пазухой у меня; незаметно вынув, я швыряю ее далеко в реку, и она шлепается о темную воду, как лягушка.

Дятловы помчались в гору – в кабак за водкой, бегут, колотят друг друга кулаками и орут:

– Р-ря!

– Их ты-и!..

Высокий старик с бородою апостола и глазами вора убежденно говорит над моим ухом:

– А за то, что вы взбулгачили народ мирный, надо бы вас, анафемов, по мордам...

Боев, переобуываясь, кричит:

– Чем мы вас потревожили?

– Христиане тонут, – ворчит солдат, еще более охрипший, – а вы что делали?

– А что нам делать?

Осип лежит на земле, вытянув ногу, и, щупая полушубок дрожащими руками, жалуется тихонько:

– Ах, мать честная, как измочился... Спорчена одежда на нет... а – года не носил!..

Стал он маленький, сморщился и словно тает, лежа на земле, становясь всё меньше.

Вдруг, приподнявшись, он сел, охнул и злым, высоким голосом заговорил:

– Понесли вас беси, дураков, – в баню, в церковь, вишь ты! Чертогоны!.. Туда же... Не проживет бог без вас свой праздник... На смерть наткнулись было... одежду всю спортили, чтоб вас розорвало...

Все переобувались, отжимали одежду, устало сопя, охая, переругиваясь с мещанами, а он кричал всё горячее:

– На-ко, что удумали, окаянные! Баня им надобна... вот, – полицию бы, она бы вам показала баню...

Кто-то из мещан услужливо сказал:

– За полицией послано...

– Ты – что? – закричал Боев Осипу. – Ты зачем притворяешься?

– Я?

– Ты!

– Стой! Это как же?

– Кто подбил народ, чтоб идти, а?

– Кто?

– Ты!

– Я?

Осип задергался, точно в судороге, и сорвавшимся голосом повторил:

– Я-а?

– Это совсем верно, – спокойно и внятно сказал Бу-дырин.

Мордвин тоже подтвердил, тихонько, печально:

– Ей-богу, ты, дядя Осип!.. Ты забыл...

– Конечно, ты заводчик делу, – угрюмо и веско крикнул солдат.

– За-абыл он! – яростно кричал Боев. – Как же, забыл! Нет, это он пробует, нельзя ли свою вину на чужую шею хомутом одеть, знаем мы!

Осип замолчал и, прищурился глазами, оглядел мокрых, полуодетых людей...

Потом, странно всхлипнув – смеясь или плача – дергая плечами и разводя руки, стал бормотать:

– А ведь – верно... и впрямь – моя затея-то... скажи на милость!

– То-то! – победоносно крикнул солдат.

Глядя на реку, кипевшую, как просыпанная каша, Осип, сморщив лицо и виновато спрятав глаза, продолжал:

– Прямо – затмение... ах ты, батюшки! И как не утонули? Даже понять нельзя... Фу ты, господи!.. Ребята... вы – того... не сердитесь, праздника ради... простите уж!.. Помутилось в уме у меня, что ли-то... Верно: я подбил... экой старый дурак...

– Ага? – сказал Боев. – А как бы я – утоп, чего бы ты говорил?

Мне казалось, что Осип искренно поражен ненужностью и безумием сделанного им, – скользкий, точно облизанный, напоминая новорожденного теленка, он сидел на земле, покачивая головою, шаря руками по песку вокруг себя, и не своим голосом всё бормотал покаянные слова, ни на кого не глядя.

Я смотрел на него, думая – где же тот воевода-человек, который, идя впереди людей, заботливо, умно и властно вел их за собою?

В душу наливалась неприятная пустота, я подсел к Осипу и, желая что-то сохранить, тихо сказал ему:

– Будет тебе...

Он искоса взглянул на меня и, распутывая бороду пальцами, так же тихо молвил:

– Видал? То-то вот...

И снова заворчал громко, для всех:

– Какая штука – а?

... На вершине горы, на фоне уже потемневшего неба, стоит черная щетина деревьев, гора прилегла к берегу, точно большой зверь. Появились синие тени вечера, они выглядывали из-за крыш домов, прижавшихся к темной коже горы, точно болячки, смотрели из рыжей, влажной пасти глинистого оврага, широко разинутой на реку, – чудилось, будто она тянется к воде, чтобы выпить ее.

Река потемнела, шорох и скрежет льда стал глуше, ровнее; иногда льдина тыкалась краем в берег, как свинья рылом, минуту стояла неподвижно, покачнувшись, отрывалась, плыла дальше, а на место ее лениво вползала другая.

Быстро прибывала вода, заплескивая землю, смывая грязь, – грязь расходилась темным дымом по мутно-синей воде. В воздухе стоял странный звук – хрустело и чавкало, точно огромное животное, пожирая что-то, облизывалось длинным языком.

Из города плыл приглушенный расстоянием сладкозвучно-грустный колокольный звон.

С горы, как два веселых щенка, катились Дятловы, с бутылками в руках, а наперерез им – вдоль берега – шел серый околодочный и двое черных полицейских.

– Ах ты, господи! – стонал Осип, тихонько поглаживая колено.

Мещане, завидя полицию, раздвинулись шире, выжидающе примолкли, а околодочный – сухонький человечек с маленьким лицом и рыжими усами в стрелку – подошел к нам, строго говоря сиповатым, деланным баском:

– Это вы, дьяволы...

Осип опрокинулся спиной на землю и торопливо заговорил.

– Это – я, ваше благородие, я всему затейщик! Простите, праздников великих ради, ваше благородие...

– Как же ты, старый чёрт, – закричал околодочный, но крик его пропал, потонул в быстром потоке умильных, ласковых слов.

– Квартера у нас здесь, в городе; на том берегу ничего нам нет, и денег нет у нас на хлеб, а после завтра, ваше благородие, велик Христов день, – в баньку надобно, на церковную службу хочется, как мы христиане, ну – я и говорю «Айдайте, ребята, что бог даст, не по худому делу пойдём» И за продерзость наказан я, вот – ноженьку разбил вовсе...

– Да! – сурово крикнул околодочный. – Ну, а если б вы утопили – что тогда было бы?

Осип глубоко и устало передохнул:

– Что же было бы, ваше благородие? Ничего бы, чать, не было, извините...

Полицейский ругался; все слушали его молча и внимательно, точно человек не матерей оскорблял грязно и цинично, а говорил важные слова, которые всем необходимо знать и помнить.

Потом, переписав наши имена, он ушел; мы, распив жгучую водку, согретые и приободренные, стали собираться домой – Осип, усмехаясь, поглядел вслед полиции и вдруг, легко поднявшись на ноги, истово перекрестился.

– Вот и конец всему, слава тебе господи!..

– Стало быть, – изумленно и разочарованно загнул Боев, – стало быть, нога-то – цела? Не сломал, значит?

– А тебе надо, чтобы сломать?

– Ах, – комедьян! Петрушка ты несчастный...

– Пошли, ребята! – скомандовал Осип, натягивая на голову мокрую шапку.

...Я шел рядом с ним сзади всех; он говорил мне тихонько, ласково и как бы сообщая одному ему известную тайну:

– И что ни делай, как ни кружись, ну – без хитрости, без обману – никак нельзя прожить, такая жизнь, такая она есть, пострели ее в душу... Ты бы на гору, а чёрт за ногу...

Темно, и во тьме вспыхивают красные, желтые огни, как бы говоря:

«Сюда идите!..»

Идем встречу звону на гору, журчат ручьи, сбегая под ноги нам, и ласковый голос Осипа утопает в их шуме:

– Ловко я полицию-то обошел! Вот как надобно дела делать – чтобы никто ничего не понял, а каждому чудилось, будто он и есть – главная пружина, да... Пускай каждый думает, будто его душа – дело совершила...

Я слушаю его речь и – плохо понимаю ее.

Да мне и не хочется понимать, в душе у меня просто и легко; я не знаю – нравится мне Осип или нет, но готов идти рядом с ним всюду, куда надобно, – хоть бы снова через реку, по льду, ускользящему из-под ног.

Гудят, поют колокола, и радостно думается:

«Еще сколько раз я встречу весну!..»

Осип говорит, вздыхая:

– А душа человечья – крылата, – во сне она летает...

Крылата? Чудесно!..

1912 г.

Губин⁴

...Впервые я увидел его в трактире; забившись в дымный угол и загородясь столом, он надорванным голосом кричал:

– Я вашу правду знаю... всю здешнюю правду знаю!

Перед ним полукругом стояло человек пять солидных мешан, неохотно поддразнивая его насмешливыми междометиями. Один равнодушно выговорил.

– Как те правды не знать, коли ты всех оболгал...

Изношенный, издерганный Губин напоминал бездомную собаку: забежала она в чужую улицу, окружили ее сильные псы, она боится их, присела на задние ноги, метет хвостом пыль и, оскалив зубы, визжит, лает, не то пытаясь испугать врагов, не то желая по-ластиться к ним. А они, видя ее бессилие и ничтожество, относятся к ней спокойно – сердиться им лень, но чтобы поддержать свое достоинство, они скучно твякают в морду чужой собаке.

– Кому ты нужен?

Мне давно и хорошо знакомы трактирные споры о правде, споры, нередко восходившие до жестокого боя, я и сам не однажды путался в этих беседах, как слепой среди кочек болота, но, незадолго до встречи с Губиным, смутно почувствовал, что все эти разноголосые состязания до бешенства и до крови выражают собою только безысходную, бестолковую тоску русской жизни, разогнанной по глухим лесным уездам, покорно осевшей на топких берегах тусклых речек, в маленьких городах, забытых счастьем. Стало казаться, что люди ничего не ищут и не знают, чего искать, а просто – криком кричат, чтобы избыть скуку жизни.

Окна трактира открыты, а над головами людей колеблется, не исчезая, облако сизого дыма. Огни ламп – точно желтые кувшинки на мертвой воде пруда. За окнами тихо плывет августовская ночь – ни шороха, ни шёпота. Я смотрю на темное небо, на яркие звезды и, деревеня под тяжестью уныния, думаю:

«Неужели небо и звезды для того, чтоб прикрыть эту жизнь? Такую?»

Кто-то говорит уверенно и спокойно, точно читая написанное:

– Ежели кубасовские мужики свой лес оберечь не успеют, завтра он обязательно займется с полуденной стороны, а тогда, конечно, и Биркиных леса натло выгорят...

Спор на минуту затих, и снова, разъедавая тишину, слышен надломленный голос:

– А что значит – правило?

Тяжелые, неуклюжие слова сталкиваются одно с другим и давят мысли насмерть. Голоса звучат громче и злей, под шум их я почему-то вспоминаю нелепые стихи:

Боги дали человеку
Воду, чтоб он пил и мылся, –
Он же взял да утопился
В ней...

...Потом я сижу один на ступени крыльца трактира, глядя через площадь в тусклые пятна окон Протопопова дома – за окнами мелькают черные тени, глухо и печально звучат басы гитары и высокий, раздраженный голос время от времени вскрикивает:

– Но – позвольте! Дайте же мне сказать...

⁴ **ГУБИН** Рассказ Впервые напечатано в журнале «Современник», 1912, номер 12, декабрь, с подзаголовком «Очерк». Рассказ написан осенью 1912 года и тогда же отправлен в редакцию журнала «Современник» (архив А. М. Горького). В соответствии с последними прижизненными собраниями сочинений М. Горького восстановлен текст, изъятый цензурой: «Господь Саваоф – он ли не терпел на евреях своих? А матерью Иисусовой еврейку же выбрал, и пророки и апостолы Христовы – все – евреи, так-то!»

А кто-то другой дробно сыплет в тишину, как в бездонный мешок:

– Нет – постойте, нет – постойте...

Дома, прижатые тьмою, кажутся низенькими, точно холмы могил. Черные деревья над крышами – как тучи. В глубине площади одиноко горит фонарь, его свет повис в воздухе неподвижным прозрачным шаром и напоминает одуванчик.

Тоска. Ничего не хочется.

Если кто-то подойдет сквозь тьму и ударит по голове – упадешь на землю и даже не помотришь – кто убил.

Всё та же дума со мною – верная мне, как собака, она никогда не отстает от меня:

«Разве для этих людей дана прекрасная земля?»

Из двери трактира с треском и громом бежит кто-то, катится по ступеням мимо меня, падает в пыль и, быстро вскочив, исчезает во тьме, угрожая:

– Я вас – оголю... я – раздену вас, будьте прокляты!

А в двери стоят темные люди, переговариваясь:

– Это он, гляди, поджечь грозит...

– Ку-уда ему, поджигать...

– Экая вредная сволочь...

...Вскинув котомку за спину, я иду вдоль улицы из одних заборов, сухой бурьян хватает меня за ноги и сердито шуршит. Ночь теплая, не стоит платить за ночлег; около кладбища есть удобные места для спанья, лес подошел почти вплоть к ограде, выслав вперед себя тесный ряд молодых сосен. Песок там усыпан сухой рыжей хвоей.

Из тьмы вынырнула и шарахнулась в сторону длинная человечья фигура.

– Кто идет? Кто? – пугливо раздается в мертвой тишине надорванный голос Губина.

...Он шагает рядом со мною, озабоченно выспрашивая, откуда я пришел, зачем, и – просто, как старому знакомому, предлагает:

– Спать иди ко мне, я здесь – домовладелец! И насчет работы я тебе находка: как раз завтра мне человека надо, колодец чистить у Биркиных – желаешь? Ну, вот, то-то! У меня, брат, всё сразу, всегда! Я и ночью людей насквозь вижу...

Дом его оказался старой баней; одноглазая, горбатая, с выпятившейся стеною, она прилегла на глинистом спуске в овраг, точно спряталась в кустах тальника и бузины.

Не зажигая огня, Губин растянулся на слежавшемся сене в предбаннике, тесном, как собачья конура, поучительно говоря:

– Ложись головой к двери на волю, а то здесь запах тяжелый...

Да – тошнотворно пахнет ягодами бузины, мылом, гарью и гнилым листом...

В небе неподвижно торчат черные деревья, закрывая золотой Млечный Путь. За Окою кричит сова, и, точно горох, на меня непрерывно сыплются возбуждающие любопытство речи:

– Ты не гляди, что я в овраге загнан, – я противу всех здесь – первое лицо!..

Темно, мне не видать лица хозяина, но я помню освещенный желтым огнем трактирной лампы облезлый, истертый череп Губина, длинный, точно у дятла, нос и серые щеки в рыжеватой щетине. Под жесткими усами – тонкие губы, рот точно ножом прорезан, наполнен черными осколками зубов и кажется злым, уши острые, мышинные, должно быть – чуткие. Он бреет бороду, это очень не идет к его лицу и всей фигуре, но – делает его заметным: сразу видно, что это не мужик, не мещанин, а кто-то особенный. Тело у него костлявое, руки и ноги – длинные, локти, колени – острые, весь он – как сучок, – думается, что его легко изогнуть, даже завязать узлом.

Я плохо слушаю его и молчу, глядя в небо, где идут звезды, догоняя друг друга.

– Спишь?

– Нет... Зачем ты бреешься?

– А что?

– В бороде лицо у тебя приятнее было бы, пожалуй...

Он коротко рассмеялся, восклицая:

– В бо-ороде... ах ты, нечисть! В бороде!

И строго заговорил:

– Петр Великий с Николай Павлычем несколько умней тебя были, так они – кто бороду носит – тому нос резать и сто целковых штрафу! Слыхал?

– Нет, не слыхал...

– А между тем из этого раскол церковный вышел, из-за бороды...

Говорит он быстро, шепеляво, слова, исходя из его уст, точно задевают за обломки зубов, рвутся, ломаются и выходят недоконченными.

– Все понимают – с бородой – легче жить, врать проще: соврал и в волосах спрятал. Значит, нужно, чтоб все жили с голым лицом – труднее врать! Чуть сыграл фальшиво – всякий это видит...

– А – бабы?

– Что – бабы? Баба врет мужу, а не городу, не всем людям – миру. Бабье дело курье; тихое – выводы цыплят... Ежели она и ложно покудахтает – какой вред? Она – не поп, не чиновник, не градской голова... власти ей не дано, законов не уставляет... Главное – чтобы в законах не врать!.. Закон должен содержать в себе настоящую правду... Надоело мне окружающее беззаконие!

Дверь предбанника была открыта, точно в церковь: деревья во тьме стояли подобно колоннам, белые стволы берез – как серебряные подсвечники, над вершинами их мерцали тысячи огней, чьи-то сине-темные лики неясно смотрят сквозь черные ризы. Жуткая тишина в душе, хочется встать и идти во тьму, навстречу всем ночным страхам, но быстрая речь человека опутывает внимание и держит на месте.

– Отец мой был человек самоумный, характерный, и за это его терпеть не могли в городе. Лет с двадцать он добивался выбора в головы градские, и поил-кормил людей, и уговаривал – не одолел упрямства-глупости, так и скончался, не достигнув назначенного себе. Боялись его: он бы тут всё разворотил, до корней вплоть! Он знал, что закон надобно вбивать в самое нутро человеку, вроде как бы гвоздь...

Под полом пищат мыши, за Окою стонет сова, и всё гуще слышен смолистый запах гари: леса горят. В темном небе порою вспыхивают красные пятна, скрадывая неясный блеск звезд.

– Помер в одночасье. А я, о ту пору, был семнадцати годов, училище городское в Рязани только что окончил. И, конечно, всё, что отец против себя в людях накопил, на меня свалилось: весь в отца, говорят! А я – один! Мать, в уме помешавшись, тоже померла, года за два до отца. Дядя, отставной унтер-офицер, пьяница непробудная и герой: под Плевной сражался, там ему глаз вышибли и руку повредили левую так, что отсохла. Кресты у него, медали, и он надо мной издевается – грамотей, дескать! Ученый! А что такое – «тиверсия»? Я говорю: такого слова нету, а он меня – за волосы... Совсем нелепое лицо! И все меня грамотой стыдят, по дикости своей... Стал я в городе на манер дурачка для всех и вроде блаженного...

Воспоминания приподняли его, он сел на пороге двери – черным пятном в синий квадрат, – закурил хрипучую трубку и, освещая свой длинный, смешной нос, продолжал быстро бегущими словами:

– Женился двадцати годов, на сиротке – больная попала и померла, не разродясь, – опять один я! Беа поддержки, без совета, без дружков... так-то! Живу и вижу: всё не так, как надобно...

– Что – не так?

– Всё! Весь оборот жизни... глупость, дичь болотная! Даже собаки не в пору лают... Говорю: давайте, ремесленное училище откроем и для девиц что-нибудь. А они – смеются: все, говорят, ремесленники горькие пьяницы, весьма довольны их! Девицы же, дескать, без наук

часто до времени родят... Затеял я спичечную фабрику – сгорела в первый год... Чего делать? Тут и настигла меня одна женщина, завертелся я около нее, как стриж вокруг колокольни, закружился и так зажил... будто не здесь! Три года не чуял себя, а когда оклемался, вижу – нищий я и всё мое – в ее руках белых! Было мне в то время двадцать восемь годов, а – нищий! Ну, – не жалею! Пожил, как редко живут... На, бери, возьми! Всё едино: я сделать не мог бы ничего с отцовым большим добром, а она – она, вон как... н-да! Может – я в ту пору и не думал так, а – это теперь, когда всё потеряно... Она говорит – ничего-де не потеряно. Ума, брат, у ней – на весь город...

– Она – кто?

– Купчиха. Бывало – распахнется и спросит: «Чего это тело стоит?» А я говорю: «Нет ему цены!» В три года – всё ушло... вроде – дым! Конечно, меня – осмеяли, заторкали... Ну, я не поддаюсь им... Знаю я тут все житейские дела, вижу – всё не так, и не молчу об этом. Молчать я не согласен... У меня – кроме души да языка – ничего нет! За то – меня не любят и считаюсь я дурачком...

– А как надобно жить, по-твоему?

Он долго молчал, посапывая трубкой, красным пятном вспыхивал во тьме его нос.

– Этого никто не знает подробно – как надо жить, – тихо и медленно выговорил он. – Я думал, думал...

Я представил себе, как он, всем чужой, осмеянный, прожил в этом городе никому не нужную жизнь – ненужное бытие угрожало и мне, сердце щемила тоска, не давая уснуть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.